

## «ВОЛЬНОЕ СЛОВО» А. И. ГЕРЦЕНА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ МЫСЛЬ XIX ВЕКА

Влияние слова Герцена на развитие русской общественной и литературной мысли XIX века (и начала XX) было исключительно велико и многообразно. Его произведения непосредственно и мощно участвовали в формировании мировоззрения нескольких поколений читателей начиная с 1840-х годов, когда Герцен и Белинский стояли во главе литературного и оппозиционного движения в России. На рубеже 1850—1860-х годов популярность Герцена — мыслителя и пропагандиста достигла апогея. Свободное слово Герцена в этот во многих отношениях исключительный и переломный период способствовало делу великого освобождения и возрождения замороженной Николаем I России. К статьям и заметкам Герцена нервно прислушивались в Зимнем дворце, а в гимназиях и университетах они воспринимались с необыкновенным энтузиазмом. Поток лился в Лондон письма соотечественников, воспрывших в эпоху «вдруг» наступившей гласности. Потянулись и посетители — пестрой и многоликой толпой, иногда являлись просто с тем, чтобы проездом «отметиться» у знаменитости. «Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит... *мы были в моде*, и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея», — вспоминал позднее Герцен отшумевшее время «цветения и преуспеяния».<sup>1</sup>

Вспоминал не только Герцен, оставивший в «Былом и думах» яркие и пластичные портреты лондонских посетителей. Вспоминали современники, в сознании которых так называемая «эпоха великих реформ» и свободное слово Герцена слились в единое, нерасторжимое понятие. Герцен был символом новой, возрождающейся России и полномочным представителем русской революционно-демократической мысли в Европе. Он являлся реальной и авторитетной политической силой, с которой вынуждены были считаться все. «„Колокол“ — власть“, — говорил мне в Лондоне, *horribile dictu*, Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу... И прежде его вторяли то же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П.,<sup>2</sup> постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на „Колокол“, как будто он был начинен трюфелями», — свидетельствует Герцен (т. 11, с. 300). И за этим ироническим перечислением бывших друзей, союзников и просто на мгновение примкнувших к *модным* прогрессивным идеям соотечественников и соотечественниц чувствуется гордость человека, осуществившего почти невозможное, — свободным словом *вернувшегося* на родину, заставившего себя слушать и уважать: «Непривычное ухо русское примирилось с свободной речью, с жад-

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1957, т. 11, с. 297. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте статьи.

<sup>2</sup> Боткин, — В. Т.

ностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность» (т. 11, с. 300).

Разумеется, столь стремительный взлет на общественном горизонте России политического эмигранта-демократа не мог быть продолжительным, и в некотором смысле это явление и парадоксальное и модное, хотя и слишком экстравагантна была такая мода для привыкшего к цивильным и военным мундирам общества. Мода прошла с закрытием либерального сезона и вступлением общества и литературы в новую, «фискальную» фазу развития. Многие из посетителей лондонского агитатора совершенно естественно и органично превратились в обскурантов, охранителей и гонителей вольной речи Герцена. Среди них и Катков, ставший, пожалуй, самым неутомимым врагом Искандера, с какой-то слепой яростью «разоблачавший» герценовские издания в оберфискальных «Московских ведомостях».

Однако это произошло позднее и нисколько не меняет поразительного факта прямого, благодатного и освежающего воздействия на внутренние русские дела герценовской пропаганды на протяжении нескольких лет. Факт, признанный не только литераторами и общественными деятелями радикального и либерального направлений, но и консерваторами, даже безупречными ретроgrадами. Так, «князь-точка», обскурант высокой пробы В. П. Мещерский в своих довольно бесцветных и весьма тенденциозных мемуарах свидетельствует: «... в военно-учебных заведениях, высших того времени, Герцена брошюры читались, сваливаясь с неба, и я помню, при встречах с юнкерами-сверстниками, разговор о том, что у них классы делятся на герценистов и антигерценистов».<sup>3</sup>

Свидетельство Мещерского далеко не единственное. Оно стоит в бесконечном ряду других. Совокупность признаний современников дает представление о фантастической, всем ярко запомнившейся популярности Герцена. *Мода* промелькнула, но оставила неизгладимый след.

Современников волновал феномен Герцена, беспрецедентная «власть» эмигранта и социалиста, перед запретной мыслью которого оказались бессильны пограничные кордоны и полицейские меры пресечения. Незадолго до смерти Герцена Н. С. Лесков, которому было очень многое чуждо в политических статьях издателя «Колокола», именно как исключительное и загадочное явление расценивал его могущественное влияние на различные слои русского общества, в том числе и на административные: «Одно время в административных сферах просто боялись Герцена. Быть обличенным в „Колоколе“ почиталось ужасным несчастьем не только для „рядового“ читателя, но даже для губернаторов, директоров департаментов и других высших чинов. Происходили вещи необъяснимые в администрации: ненавидели г. Герцена, не уважали его — и его слушались. Известны случаи, что люди через одно недружелюбное слово, сказанное о нем Герценом, утрачивали свою репутацию и теряли карьеру».<sup>4</sup>

У Лескова, этого нетипичного шестидесятника, отношения с революционно-демократическим лагерем сложились драматично. Он, как и очень многие публицисты и литераторы, с удовлетворением воспринял конфликт между Герценом и «Современником» и охотно использовал в своих полемических заметках тезисы и определения из статей «Very

<sup>3</sup> Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1897, ч. 1 (1850—1865 гг.), с. 69.

<sup>4</sup> Биржевые ведомости, 1869, № 73. О том же писал Лесков и в некрологе Герцена: «Свободная печать Герцена в то время, когда печатное слово в России было сковано, несомненно приносила свою долю пользы, и, кто хотел бы против этого спорить, тому можно напомнить случаи, когда по вопиющим делам начинались следствия единственно по трезвону, поднятому о них в „Колоколе“». — Биржевые ведомости, 1870, № 27. Обе анонимные статьи в газете убедительно атрибутированы Лескову И. В. Столяровой.

dangerous!!!», «Лишние люди и желчевики». Были у Лескова и свои претензии к Герцену, которого он считал повинным в развращающем влиянии на молодое поколение. Лескову представлялась наивной и кабинетной теория «русского социализма» Герцена, и уж, само собой, в русском расколе он не видел никакой потенциальной революционной силы. Одновременно Лесков не разделяет и негативного отношения к Герцену Каткова, но и объективно оценить деятельность великого эмигранта не может. Чувствуется некоторая растерянность в его некрологе Герцена. Традиционность присущих этому жанру торжественных формул лишь оттеняет бессилие Лескова осмыслить столь сложное, большое, историческое явление русской и европейской литературы: «Надо перемерить гарнец до зерна, проверить поприще до стадии. Кто же возьмется это сделать для только что умершего Герцена, человека во всяком случае необыкновенного, потому что он один силою своей воли и своих дарований (употребленных так или иначе) заставил говорить о себе в России и Европу, и говорить и много и долго... Суд над Герценом нашими общественными людьми был произнесен тысячекратно, но едва ли то когда-нибудь был суд правильный. Герцена то безусловно хвалили, то безусловно порицали, а он не стоит ни того, ни другого. Он был человек больших дарований и громадной неопытности; человек страстных симпатий и самых упрямых антипатий, он был сын мира, работающий вражде; фанатический верователь, размененный фальшивыми монетками на грошное безверие. Худо и добро в нем мешались. Человек бо был, и все человеческое ему было не чуждо».<sup>5</sup>

Статья Лескова полемически заострена против появившихся в русских газетах некрологов, в которых одобрительно упоминались статьи Каткова, положившие конец «умственному террору» Герцена, и в благонамеренно-верноподданническом духе осмыслялась эволюция Герцена после 1862 года: «Для русского общества Герцен умер давно, с тех пор, как в трудную для России минуту открыто стал на сторону наших противников».<sup>6</sup> Лескова справедливо возмутила такая жалкая, благонамеренная, трусливая газетная панихида по Герцену. Авторам некрологов не удалось, по его верному заключению, ни выяснить «личность покойного Искандера», ни рассеять «тучи осуждений, павших на его голову после долгого его господства над умами в России...»

Не под силу, впрочем, оказалось сделать это и Лескову. Не смог он (правда, в тактичной и сдержанной форме) удержаться и от «суда» над Герценом и особенно над его ретивыми последователями в России. На скорую руку в самых общих чертах уравнивая «положительное» и «негативное», «худо» и «добро» в деятельности Герцена, Лесков смущенно замолкает. Несомненно, длительный опыт плавания «против течений» наложил субъективно-личный отпечаток на отношении Лескова к Герцену.<sup>7</sup> В том же 1870 году и в той же газете печатается очерк-памфлет Лескова «Загадочный человек», в котором он зло иронизирует над словами Герцена из статьи «Письмо к Н. Огареву»: «Что касается большей части наших самых дорогих убеждений, то уж мы сто раз высказывали их и повторяли; вокруг них образовалось неизменное ядро. Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму...

<sup>5</sup> Биржевые ведомости, 1870, № 27.

<sup>6</sup> Голос, 1870, № 18. Об этом и других некрологах Герцена, появившихся в русских газетах и журналах, см. аналитический обзор М. К. Перкаль «Отклики русской печати на смерть А. И. Герцена» (в кн.: Общественная мысль в России XIX в. Л., 1986, с. 108—127).

<sup>7</sup> Однако творчество Герцена 1840-х годов Лесков постоянно оценивал очень высоко, признавая гуманистическое и просветительское значение философских, художественных, публицистических произведений автора «Капризов и раздумья», «Кто виноват?», «Писем об изучении природы» в «глухую пору» николаевской реакции.

что бояться нечего — идея не погибнет». Лесков всем содержанием очерка пытается доказать наивность и иллюзорность убеждения Герцена. Более того, упрекает Герцена в неискренности и нежелании признать свое «поражение», свою «ошибку»: «Опубликованные посмертные записки Герцена показали, что у него недоставало смелости сознаться, что он ошибся и что „поколения бесповоротного социалистического“ на Руси нет, а Скотинины, Чичиковы и Ноздревы живы».<sup>8</sup> Суждение тенденциозное и несправедливое, но, конечно, неслучайное, важным составным элементом входящее в общее представление Лескова о «комическом времени». К сожалению, бесконечная тяжба Лескова с «нигилистами» помешала объективно и беспристрастно отнестись к деятельности учителя Артура Бенни. Здесь была черта, которую Лесков по очень многим причинам перейти не мог. Даже позднее, когда полемическая буря 1860-х годов отошла в историческое прошлое (правда, недавнее) и радикально переменялся сам Лесков, с энтузиазмом откликнувшийся на деятельность Толстого — единственной, с точки зрения писателя, личности на общественно-литературном горизонте России и Европы, несущей слово возрождения и спасения. Ориентация Лескова на Толстого (весьма, разумеется, свободная) была жизненно необходима Лескову, помогала самоопределиваться. И она как бы отодвигала в прошлое изнурительную и с годами становившуюся все более бессмысленной борьбу с последователями и учениками Герцена, к которому он пытался одно время отнестись спокойно и беспристрастно, да не смог.

Толстой вывел Лескова из тупика, в котором долгое время пребывал автор статей о петербургских пожарах и злосчастного романа «Некуда», высоко ценимого, по свидетельству Фаресова, художником и мыслителем из Ясной Поляны. Герцен был неотделим от мрачного периода жизни, о котором Лескову было тяжело вспоминать и тем более беспристрастно судить. Вот отчасти почему Лесков, ранее, как публицист «Северной пчелы» и «Биржевых ведомостей», так много и часто писавший о Герцене,<sup>9</sup> в 1880—1890-е годы так редко упоминает легендарного Искандера. И, напротив, Толстой, авторитет которого так много значил для Лескова, собственно только после смерти Герцена открывает в нем гениального мыслителя и художника.

Весьма вероятно, что в этом движении Толстого к Герцену видную роль сыграла монография Н. Н. Страхова, первоначально публиковавшаяся в почвенническом журнале «Заря» (в 1870 году). Впрочем, Толстой далеко не сразу оценил статьи критика о Герцене, хотя, находясь в дружеских отношениях со Страховым, он регулярно читал книжки «Зари».<sup>10</sup> Страхова, должно быть, такое равнодушие задело, и он в письме к Толстому от 26 ноября 1873 года настоятельно рекомендовал прочесть по многим причинам особенно дорогую ему работу о Герцене: «Статьи о Герцене удивляли своей верностью понимания тех, кто лично знал Герцена и любил его...»<sup>11</sup> Но Толстой отнесся с иронией к этой слишком откровенной саморекламе. Ни Герцен, ни статьи о нем в этот период положительно не интересовали Толстого, который вообще относился к журнально-газетной критике отрицательно и довольно бесцеремонно неоднократно высказывал в письмах свое мнение Страхову. А с Герценом Толстой «раскланялся» еще в 1862 году, когда был учинен обыск в Ясной Поляне, парадоксальнейшим образом настроивший Толстого как против правительства, так и против подрывной пропаганды.

<sup>8</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1957, т. 3, с. 380.

<sup>9</sup> См.: *Видущая И. П. Лесков о Герцене.* — В кн.: *Проблемы изучения Герцена.* М., 1963, с. 300—320.

<sup>10</sup> В том числе, разумеется, и работы Страхова. На одну из них (статью «Женский вопрос») он откликнулся письмом-рецензией.

<sup>11</sup> Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. М., 1914, с. 37.

С раздражением и не без эпатажа он писал А. А. Толстой: «... я имею злобу и отвращение, почти ненависть к тому милому правительству, которое обыскивает у меня литографские и типографские станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые я презираю, которые я не имею терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти прелести прокламации и „Колокол“, и я так и отдал, не прочтя. Мне это скучно, я все это знаю и презираю не для фразы, а от всей души».<sup>12</sup> Гнев против правительственных «разбойников» усилил отвращение Толстого к политике вообще, а Герцен в его представлении был прежде всего политическим публицистом. Толстой высказывает желание (почти угрозу) покинуть страну, в которой он не защищен от грубого произвола, бежать «от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками». Однако и от Герцена он отрекивается: «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду» (Т., т. 60, с. 436). Весьма вероятно, что Толстой в письме А. А. Толстой умышленно подчеркивает свое отрицательное отношение к Герцену и его «прокламациям». Кстати, именно А. А. Толстая посоветовала Толстому, очень обеспокоенному обыском, обратиться с письмом к Александру II.

Толстой действительно к Герцену не поедет. И его встречи с Герценом в Лондоне были отодвинуты в дальний ящик памяти. «Позабыл» Толстой и когда-то очень ему понравившуюся «етюду» «Роберт Оуэн». Все это (и другое) было изъято, отброшено и вновь воскресло, когда возникла у Толстого острая потребность в произведениях Герцена, постепенно открываемого им заново. Но в 1873 году это время еще не пришло — и Толстой просто отмахнулся от советов Страхова, как от досадной ерунды, «политики», отвлекающей от настоящего дела. Не хотелось и ворошить старое, некогда доставившее Толстому большие неприятности. Ссылка же Страхова на авторитетные мнения могла лишь раздосадовать Толстого — тут он уже принципиально не пожелал уважить самолюбие критика еще одним одобрительным отзывом о герценовских статьях.

Но Толстой — свою роль здесь сыграли отрицательное отношение к политике и критике, воспоминания о произволе, учиненном правительственными «разбойниками» в Ясной Поляне, — ошибся. Монография Страхова принадлежит к наиболее талантливым и ярким работам критика. Страхов с полным правом мог гордиться и статьями о Герцене и отзывами о них современников, среди которых прежде всего следует назвать Ф. М. Достоевского, живо откликнувшегося на первую статью, только что появившуюся в журнале «Заря». С главными идеями и почвеннической философией Страхова Достоевский был солидарен. Но указал Достоевский очень тактично и на самое уязвимое место в работе Страхова: противопоставление Герцена — политического публициста Герцену — литератору и философу. Герцен, с эстетической точки зрения Достоевского, явление цельное, неделимое: «Кстати (хотя это и не входит в тему Вашей статьи), но не правда ли, что есть и еще одна точка в определении и постановке главной сущности всей деятельности Герцена — именно та, что он был, всегда и везде, — *поэт по преимуществу*. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт! Это свойство его природы, мне кажется, много объяснить может в его деятельности. . .»<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. М., 1949, т. 60, с. 429. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте статьи: Т., том, страница.

<sup>13</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1986, т. 29, кн. 1, с. 113.

Воздействие на Достоевского концепции Страхова, пожалуй, преувеличено в научной литературе.<sup>14</sup> За вычетом некоторых общих почвеннических идей, взгляд Достоевского на главную сущность творчества и личности Герцена во многом иной. Точка зрения Достоевского преимущественно сословно-антропологическая и эстетическая. Герцен, в представлении автора статьи «Старые люди», — «тип исторический», в котором ярко выразился «разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия», «он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами».<sup>15</sup> Во всем *поэт*, прежде всего *gentilhomme russe et citoyen du monde*, урожденный эмигрант и вечный скиталец — необыкновенно сжатая, энергичная, состоящая из сплошных «формул» схема-концепция. Здесь есть точки соприкосновения со взглядом Страхова, но преобладает свое объяснение главной сущности деятельности Герцена, родившееся в полемике с тезисами работы коллеги по почвенническим журналам. Схема Достоевским начерно, приблизительно набросана. В дальнейшем она будет диалектически развита и уточнена: образ «высшего русского скитальца» в художественных и публицистических произведениях Достоевского несомненно ориентирован на «исторический тип» Герцена.<sup>16</sup>

В 1882 году вышел первый том книги Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», куда он включил и статьи о Герцене. Книгу критик прислал Толстому, и наконец-то дождался оценки работы, которой он, судя по всему, особенно дорожил: «Статьями о Герцене я был восхищен, статьей о Милле удовлетворен, но статьями о коммуне и Ренане неудовлетворен. — Позитивисты говорят, что то, о чем люди думают и всегда думали, — пустяки и не надо о том думать. Они не имеют права этого говорить и выходят из затруднения, отрицая его. Это неправильно. Вы делаете то же, но хуже. Вы отрицаете не то, что думают, — а то, что делают люди. Вы говорите — они делают вздор. Задача в том, чтобы понять, что и зачем они это делают».

Этим мне не понравилась ваша книга. Простите не за правду, а за правдивость» (Т., т. 63, с. 93).

В основном Толстой отнесся к книге Страхова критически, что побудило последнего разъяснить природу негативного отношения к нигилизму, позитивизму, Парижской Коммуне. Дополнительные пояснения Страхова не только не удовлетворили Толстого, но и заставили в очень резкой форме высказаться, почему он считает точку зрения критика глубоко ошибочной: «Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с вами вместе, не могу понять».

Вы находите безобразие, и я нахожу. Но вы находите сго в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие» (Т., т. 63, с. 94—95).

<sup>14</sup> Особенно в статьях А. С. Долинина, а также в комментариях к роману «Подорожник». — Там же, 1976, т. 17, с. 288—290.

<sup>15</sup> Там же, 1980, т. 21, с. 9.

<sup>16</sup> Большая и многосоставная тема «Достоевский и Герцен» давно привлекает внимание ученых и публицистов. Из работ последнего времени представляется наиболее значительной статья С. Д. Лицинер «Герцен и Достоевский: Диалектика духовных скитаний» («Русская литература», 1972, № 2, с. 37—61), в центре которой анализ концепций мира и человека, соотношение художественно-философских структур Достоевского и Герцена.

Таким образом Толстой подтвердил свое сочувствие (до некоторой черты) к статье «Женский вопрос» и «восхитился» во всей книге Страхова только статьями о Герцене, что, на первый взгляд, кажется непоследовательным. Ведь там, как и в других частях книги, ясно заявлено отрицательное отношение критика к позитивизму, либерализму, нигилизму, революции, не говоря уже о «почвеннических» идеях Страхова, к которым Толстой был настроен непримиримо.<sup>17</sup> Совокупность всех высказываний позднего Толстого о Герцене — мыслителе, художнике, пропагандисте убедительно свидетельствует, что он был «восхищен», собственно, не почвенническо-антинигилистической концепцией Страхова, а самим Герценом, произведения которого критик увлеченно и широко цитировал. Видимо, именно мысли Герцена, автора «Былого и дум», «Концов и начал», «С того берега», поразили Толстого и заставили пересмотреть некогда сложившееся мнение о нем как о тенденциозном политическом журналисте, издателе «скучного» «Колокола».

Почвеннический энтузиазм Страхова не мог заинтересовать Толстого, равнодушного к спорам «западников» и «славянофилов». Толстого (а это легко вычитывалось из статей критика) привлекло особое и независимое положение Герцена в борьбе идей века, недогматическая форма изложения мысли. Страхову было в Герцене дорого *отрицание европейских начал* (они же и *концы*). Толстой смотрел глубже, не обнаруживая в творчестве Герцена пессимизма и нигилистического отречения ни от своего, ни от европейского. Но Толстому показалось отчасти справедливым и любопытным, судя по всему, следующее рассуждение Страхова: «... Герцен имел величайший успех и вместе с тем никто не разделял его мнений, никто не обдумывал его взглядов. Лучшая его книга „С того берега“ прошла бесследно для умов, хотя была затаскана и истребана руками бесчисленных почитателей».<sup>18</sup> Однако Толстой решительно не согласился с благонамеренным объяснением Страхова столь удивительного невнимания русских читателей к «чудесам остроумия и глубокомыслия» в произведениях Герцена.

Толстой не просто вносит существенные поправки к объяснениям и рассуждениям Страхова. Он их снимает, безоговорочно отбрасывает ложную мысль критика: «Можно смело сказать, что до сих пор мысли Герцена, его философские и исторические взгляды — совершенно неизвестны нашим читателям, и в этом виноваты не правительственные запрещения, не малое распространение его сочинений, а виноват сам Герцен, виновато странное настроение нашей публики».<sup>19</sup> С точки зрения Толстого, обвинять в таком ненормальном положении публику, и тем более Герцена, в высшей степени нелепо. Никакой вины Герцена он вообще не видит. Вина, настойчиво и многократно повторял Толстой, лежит на тех правящих «разбойниках», кто изъям слово Герцена из русской жизни, тем самым нанеся ей огромный и невосполнимый урон. Так, Толстой писал 9 февраля 1888 года В. Г. Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов... Если бы не было за-

<sup>17</sup> С вызовом и хорошо зная, что это задевает Страхова, он писал ему в марте 1872 года: «Народность славянофилов и народность настоящая две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света. Я ненавижу все эти *хорошие начала* и *строю жизни и общины* и *братьев славян*, каких-то выдуманных...» (Т., т. 61, с. 278).

<sup>18</sup> Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. СПб., 1882, с. 48.

<sup>19</sup> Там же.

прещения Герцена, не было бы динамита, и убийств и виселиц и всех расхождений, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла. — Очень поучительно читать его теперь. И хороший искренний человек... От того, что человек этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, которые идут за ним? Чудно и жалко» (Т., т. 86, с. 121—122).<sup>20</sup>

Совершенно очевидно, что осмысление Толстым деятельности Герцена тенденциозно и односторонне. Он, как и почвенник Страхов, превращает Герцена в своего идейного союзника. Но в отличие от Страхова Толстой с несомненной симпатией относится к критическому началу творчества Герцена. Не забыл Толстой и некогда сильно разгневавший его эпизод полицейского произвола в Ясной Поляне. Но теперь эта двадцатипятилетней давности история предстала в ином освещении — как одна из ярких иллюстраций преследования свободного слова, любого инакомыслия. Очевиднее стала видна близорукость тех, кто идею произвола и гонения сделал главным принципом внутренней государственной политики. Статьи Страхова пробудили интерес Толстого к Герцену. Но восхищение ими постепенно и неизбежно переросло в полемику с почвенническими и благонамеренными идеями критика. Н. Н. Ге и В. В. Стасов, люди из ближайшего окружения Толстого, заразили его своим восторженным отношением к Герцену.<sup>21</sup> И в приближении Толстого к Герцену их мнения и оценки сыграли несравненно большую роль, чем статьи Страхова, дававшие весьма узкую и очень тенденциозную схему. Принять ее по многочисленным причинам Толстой не мог. Чрезвычайно показательно, что на рубеже веков Толстому представлялось ценным и пропагандистское искусство Герцена. Если в 1862 году Толстой с раздражением отмахнулся от «прокламаций» «Колокола», то в 1899-м он так инструктировал В. Г. Черткова, выпускавшего в Лондоне «Листик свободного слова»: «Нужно быстро и бойко, по-герценовски, по-журнальному, писать о современных событиях. А вы добросовестно исследуете их, как свойственно исследовать вечные вопросы» (Т., т. 88, с. 179). Метаморфоза логически неизбежная и все же поразительная. Толстой, советующий писать быстро, по-журналистски оперативно, приводящий в образец стиль «прокламаций» (т. е. злободневных заметок и реплик) Герцена, — это уже не Толстой, удаляющийся в литературно-семейную жизнь Ясной Поляны, а учитель и пропагандист, политический деятель, озабоченный эффективным воздействием своего слова на массы современных читателей.

Толстой, бесспорно, свободно использовал то, что было близко ему в произведениях Герцена. И когда требовалось в интересах пропаганды учения внести необходимые изменения или экспрессивные уточнения в цитируемые тексты Герцена, Толстой, нимало не смущаясь произвольностью такой операции, осуществлял их. Толстой постоянно осовременивает мысли Герцена, приближая их к состоянию дел в России и мире на рубеже веков. В отличие от Достоевского, сосредоточившегося на выяснении исторического значения деятельности и личности Герцена, Толстой обнажает злободневность и подчеркивает пророческое звучание мыслей создателя «Былого и дум», «С того берега», цикла писем «К старому товарищу». В глазах Толстого Герцен — великий мыслитель и ху-

<sup>20</sup> И через небольшой промежуток времени о том же в письме к Н. Н. Ге: «Все последнее время читал и читаю Герцена... Что за удивительный писатель. И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (Т., т. 64, с. 151).

<sup>21</sup> Подробнее об этом см. в книге С. А. Розановой «Толстой и Герцен» (М., 1972, с. 130—152).



дожник, на голову стоявший выше узкопартийных споров «западников» и «славянофилов», проницательный диагностик болезней века, отчетливее других своих современников указавший на необходимость кардинального обновления России, Европы, всего мира: «...невозможность продолжения жизни на прежних основах и необходимость установления каких-то новых форм жизни» (Т., т. 28, с. 285).

Исключительный интерес позднего Толстого к произведениям Герцена<sup>22</sup> носил во многом личный характер, отразил идеологические убеждения и эстетический вкус Толстого — мыслителя, художника, вероучителя, пропагандиста. Но он был и одним из ярчайших проявлений постепенного и все нарастающего, достигшего кульминации в начале XX века постижения истинного значения творчества и деятельности Герцена, которого буквально открывали заново. А. М. Горький опирался уже на сложившуюся и окрепшую традицию, когда писал: «В Герцене заключен весь Михайловский, Герцен дал все основные посыпки народничества — на протяжении целых 50 лет русское общество не выдумало ни одной мысли, неизвестной этому человеку...»

Он представляет собой целую область, страну, изумительно богатую мыслями...»<sup>23</sup>

Популярность Герцена в России и при жизни была велика, а одно время, что запомнилось всем, когда его называли «политическим вождем» страны, исключительно велика. И все же подлинное открытие страны «Герцен» состоялось после его смерти, чему немало способствовал знаменитый «Сборник посмертных статей Александра Ивановича Герцена», на который сразу же и очень живо откликнулись Н. Страхов, Лесков, Достоевский и многие другие. Статьи Страхова ради справедливости здесь следует особенно выделить. Именно они стали в силу ряда причин отправной точкой к длинному и трудному пути узнавания, открытия Герцена, объектом пристального внимания Достоевского, Толстого, Г. Успенского («Власть земли»). Осуждение революционной и пропагандистской деятельности Герцена в статьях Страхова самое неинтересное и шаблонное. Оно в немалой степени было благонамеренным маневром. По сути же Страхов предлагал современному читателю взглянуть на литературную деятельность Герцена не сквозь памфлетно-карикатурную призму статей «Московских ведомостей» Каткова, а с иной и гораздо более высокой точки зрения. Независимо от намерений критика, его статьи пропагандировали запрещенные произведения Герцена (даже тенденциозно подобранные обширные цитаты прочитывались помимо тенденции). Сочувственно воспринималась современниками и попытка Страхова понять «нигилизм» Герцена «как одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца».<sup>24</sup> И еще более важ-

<sup>22</sup> Что не прошло мимо внимания авторов первых научных монографий о Герцене. А. Веселовский сопоставлял «Записки одного молодого человека» с «Детством» (*Веселовский А. Герцен-писатель: Очерк. М., 1909, с. 34—35*). «...Смелый скептицизм Герцена не превзойден ни одним русским писателем, только Лев Толстой идет рядом с ним, подрывая самые глубокие основы традиции и отживающего социального строя», — писал В. Е. Чепихин-Ветринский (*Ветринский Ч. Герцен. СПб., 1908, с. 217*). Обе книги внимательно были прочитаны Толстым. Многие современники, принадлежавшие к окружению Толстого, охотно и часто сопоставляли его с Герценом. Особенно часто это делал В. В. Стасов в письмах к брату, Л. Н. Толстому, Т. Л. Толстой. Похоже, что такое, ставшее традицией сближение с Герценом несколько беспокоило и тревожило Толстого. В. Г. Черткову он писал 23 декабря 1901 года: «Ваш листок „Свободное Слово“ мне очень понравился. Боюсь, что такое впечатление... он производит на меня, которому все, что он содержит, особенно близко. Интересно, какое он производит впечатление на людей чуждых нам. Сколько я замечал, всегда делают сравнение с Колоколом Герцена и не могут привыкнуть к тому, что основы другие» (Т., т. 88, с. 252—253). Весьма красноречивое признание.

<sup>23</sup> *Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 205—207.*

<sup>24</sup> *Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе, с. 122.*

ным было признание Страховым огромного влияния Герцена на развитие русской общественно-литературной мысли: «Перечитывая Герцена, можно с величайшим изумлением убедиться, что множество мыслей, впоследствии вошедших в оборот в русской литературе, были высказаны в первый раз им. Находились люди чуткие и умные, для которых намеки и беглые заметки Герцена не пропадали даром, которые усваивали себе эти часто блистательные проблески и потом развили их и присоединили к запасу своих мыслей».<sup>25</sup>

Страхов, должно быть, относит к «чутким и умным» литераторам почвенников А. Григорьева, Ф. Достоевского, Н. Данилевского, а также И. Тургенева. И он, конечно, прав — мысли Герцена действительно оказали самое разнообразное воздействие на русскую литературу, органически вошли в творчество виднейших русских прозаиков, поэтов, публицистов, философов. Масштаб этого могучего и часто подспудного влияния Герцена на общественно-литературную мысль России по-настоящему был оценен после смерти писателя. Поразительно, что даже И. С. Тургенев, которого так много связывало с Герценом,<sup>26</sup> лишь позднее в подлинном свете осознал, что значил Герцен для него и для русской литературы: «... остроумнее — и умнее (две вещи разные, не всегда совместимые) — у нас писателя не было. И сколько искренности и теплоты при всем фейерверочном блеске! Никто у нас его не заменил — да мы и не идем по той дороге».<sup>27</sup>

«Я ни у кого уже потом не встречал такого редкого соединения глубины и блеска мыслей», — вспоминал Л. Толстой о лондонских встречах с Герценом, почти буквально совпадая с мнением Тургенева.<sup>28</sup> Вообще о неповторимом сочетании ума и остроумия, глубины и блеска мыслей Герцена — писателя и собеседника современники вспоминали с впечатляющим и трогательным единодушием. Изощренная диалектика, эмоциональный порыв, энциклопедический диапазон сравнений, эстетическое изящество мысли Герцена буквально гипнотизировали, завораживали, заражали слушателей и читателей. Порой этот «фейерверочный» блеск даже казался чрезмерным, слишком ярким — утомлял и слепил. «Способность к поминутным, неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Герцена в необычайной степени — так развита, что под конец даже утомляла слушателя», — писал П. В. Анненков.<sup>29</sup>

Напряженный, исключительно динамичный, ассоциативно насыщенный, патетико-иронический, насквозь метафоричный, эмоционально окрашенный стиль Герцена, прирожденного оратора и политического вождя, философа и «поэта», воспринимался как праздничное и незабываемое событие, подаренное судьбою и оставившее неизгладимый след в памяти. «Ах, какой это был человек, несравненный и невообрази-

<sup>25</sup> Там же, с. 125.

<sup>26</sup> Философско-идеологические споры Герцена и Тургенева, растянувшиеся на два десятилетия, несомненно одна из самых значительных страниц русской классической литературы. «Дым» и «Довольно», «Концы и начала» и статьи обоих писателей по поводу «Отцов и детей» — это лишь наиболее зримые и весомые плоды диалога двух крупнейших представителей русской литературы в Европе. Равным образом и переписка Тургенева и Герцена, по верному наблюдению Л. С. Радека, «представляет, по существу, непрерывный драматический диалог-поединок по важнейшим вопросам общественного развития, философии, искусства, назначению человека». — *Радек Л. С.* Герцен и Тургенев: Литературно-эстетическая полемика. Кишинев, 1984, с. 113.

<sup>27</sup> *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма: В 13-ти т. Л., 1967, т. 12, кн. 2, с. 117.

<sup>28</sup> *Сергеев П.* Толстой и его современники. М., 1911, с. 13.

<sup>29</sup> *Анненков П.* Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 318.

мый, — если даже оставить на секунду в стороне воспоминание о его гениальности, — чарующий и привлекающий, как сон какой-то блаженный», — восторженно вспоминал перед смертью В. В. Стасов о своих встречах с Герценом.<sup>30</sup> Неповторимое своеобразие речи Герцена запомнилось и Н. В. Шелгунову: «В разговоре он был такой же, как и в статьях, с той же вечно наготове шпилькой и такой же умный. Герцен быстро переходил от одного предмета к другому, электризовал мысль собеседника, не давал ей покоя, поднимал ее, заставлял идти вперед. Разговор его был самый разнообразный, как блестящий калейдоскоп, — и современные вопросы, и освобождение крестьян, и будущие русские реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдот, и Виктор Гюго, и Гете, и философия, и история, и политика. Герцену можно было бы сказать: „С вами ходишь точно по краю пропасти“; у непривычного могла закружиться голова».<sup>31</sup>

Вот лишь некоторые и удивительно однотипные свидетельства современников, которым посчастливилось не только читать, но и слушать Герцена. Он был гениальным собеседником, в совершенстве владевшим искусством диалоговедения, и великим писателем, словесное мастерство которого восхищало Тургенева и Толстого (последний ставил его рядом с Пушкиным). Лингвистическая и стилистическая дерзость Герцена, мало считавшегося с канонами и пуристскими предписаниями, — явление новаторское, чрезвычайное в русской литературе.<sup>32</sup> Герцен неутомимо приучал русского человека к вольной, не регламентированной различными запретами, указами, гласными и негласными предписаниями речи. «Открытая, вольная речь — великое дело; без вольной речи — нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние. Скрывается только слабое, боящееся, незрелое. „Молчание — знак согласия“, — оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность», — неустанно повторял Герцен, считая вольную речь первым условием действительно демократического общества (т. 12, с. 62). Вся его деятельность за рубежом (да и в России 1840-х годов, где, правда, Герцен не мог говорить столь открыто) была грандиозным опытом обучения русского общества вольной речи. «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло»; «Открытое слово — торжественное признание, переход в действие» — девиз и глубокое убеждение Герцена (т. 6, с. 14; т. 12, с. 62).<sup>33</sup> Более того — спасительная, поддерживавшая в самые мрачные времена вера.

Молчание — признак слабости, подавленности, печальный плод рабства. Но еще хуже злоупотребление словом, предательство слова. М. Н. Катков в глазах Герцена стал символом страшного нравственного падения. И это было падение человека, употребившего во зло слово, предавшего исповедальные, свободолюбивые традиции русской литературы. С гневом и презрением писал Герцен о поразившей Россию эпидемии «каннибальского патриотизма»: «Мы не можем привыкнуть к этой страшной, кровавой, безобразной, бесчеловечной, паглой на язык России, к этой литературе фискалов, к этим мясникам в генеральских эполетах, к этим квартальным на университетских кафедрах, к этим робеспьеров-

<sup>30</sup> Сборник Государственного Толстовского музея. Л., 1937, с. 281.

<sup>31</sup> Герцен в воспоминаниях современников. [М.], 1956, с. 255.

<sup>32</sup> «Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску». — Горький М. Указ. соч., с. 206.

<sup>33</sup> Свобода слова — свобода слуха («... для того чтоб свобода слова была делом искренним и возможным, надобно, чтоб ее поддерживала свобода слуха...» — т. 14, с. 62) — свобода лица («Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе» — т. 6, с. 14) — великая триада, фундамент творчества и всей деятельности Герцена.

ским трикотезам Зимнего дворца, старым, седым, беззубым девкам и бабам, к этим Катковым в юбке и Аскоченским в кринолинах, с их прозвищами, вынутыми за здравие Михаила Николаевича, безобразными образами, посланными ему в благословение, — к этим волчицам без молока, без Ромула и Рема, которые перенесли ревность диких самок в любовь к отечеству» (т. 18, с. 241).

Герцен призывал своих соотечественников отрешиться от привычек холопского, лакейского словоизвержения, освободить от крепостного рабства не только крестьян, но и речь: «Пусть язык наш смое прежде следы подобострастия, рабства, подлых оборотов, вахмистерской и барской наглости — и тогда уже начнет поучать ближних» (т. 15, с. 210). Следы и приметы рабства и барства, деспотизма и холопства, самодурства и административного бездушия Герцен обнаруживает не только в официальных документах (резюльциях, прошениях, указах, приказах, циркулярах, рапортах, донесениях, предписаниях, предуведомлениях и т. д. — бесконечная ведомственно-бюрократическая жанровая цепь) и верноподданных адресах (непреренно единодушных), но даже в манерах, речах, произведенийх современных нигилистов, разрушителей и ниспровергателей, стоящих по другую сторону баррикад и парадоксальным образом стилистически совпадающих с охранителями и консерваторами. «Нет ли в этом пристрастии к однообразию, — риторически вопрошал Герцен в статье «Еще раз Базаров», — того же раздражительного духа, который сделал у нас из канцелярской формы сущность дела и из военных эволюций — шагистику? Из этой стороны русского характера развились статская и военная аракеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявление, отступление — считалось непокорством и возбуждало преследования и непрерывные придирки. Базаров — не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его — выговор высшего низшему» (т. 20, с. 344).

Сложный и многотрудный процесс становления нового мировоззрения, разрушение обветшалых понятий, борьба с дуализмом и догматизмом неизбежно делали насущной задачу преобразования языка и стиля, обновления словаря, приближения литературной речи к разговорной. Язык Герцена в высшей степени явление адогматичное, текучее, живое. «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело», — писал Тургенев Анненкову.<sup>34</sup> Нарушение грамматических форм, усложненный, «тяжелый» синтаксис, многослойный полисемантический метафорический строй образов, сплав ораторско-романтического начала с научной речью (поэтически преображенные термины из философии, астрономии, медицины, геологии, математики, естествознания), высокое искусство диалоговедения — неотъемлемые черты умного и остроумного стиля Герцена.

Языковое и стилистическое новаторство Герцена (вольная речь свободного человека) неразрывно связано с новаторством жанровым и идеологическим. «Отвага знания» органично слита с «отвагой» стилистической, повествовательной, жанровой. Не только «Былое и думы», «С того берега», но и все творчество Герцена по сути есть непрерывающийся и напряженный исповедально-философский диалог о «концах» и «началах», нечто близкое «к разговору» и письму, форма которого «самая широкая... свободна, как женская блуза, нигде не шнурует и нигде не жмет» (т. 18, с. 64).

Слово Герцена было обращено к свободному человеку. Оно изнутри «диалогично» и предполагало активное соучастие читателя в диспуте. «Грех мой весь в том, что я избегал догматического изложения и, может,

<sup>34</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма: В 13-ти т., 1964, т. 8, с. 299.

слишком полагался на читателей; это привело многих в искушение и дало моим *практическим* противникам орудия против меня — разных закалов и не одинаковой чистоты», — писал Герцен в «Концах и началах» (т. 16, с. 195). «Отвага знания» нераздельна с недогматическим изложением мысли и в идеале предполагает «отвагу» понимания. А ее часто нет — пророков побивают камнями, и совсем недавно «модный» издатель и публицист обнаруживает, что его голос — это голос вопиющего в пустыне, которую нескоро еще обживут люди. Для литератора, и особенно политического публициста, непонимание, вражда, равнодушие публики — большая трагедия, тем более для эмигранта, которому жизненно необходима связь с родиной. Герцен тяжело переживал отчуждение российской публики, отступившейся от него после недолгой либеральной весны. Но и в эти трудные годы он предпочел горькую правду полужки и молчанию, уповая на конечное торжество истины, на *будущих* читателей. Один из своих циклов Герцен красноречиво назвал «Письма к будущему другу», с грустью и иронией пояснив: «Автор этих писем был в большом затруднении и только недавно вышел из него... По несчастью, у него не оказалось в наличности ни одного отсутствующего друга, по крайней мере такого, который желал бы что-нибудь знать, ни такого, которому бы хотелось что-нибудь писать... автор вспомнил *предварение человека*, открытое императорским почтамтом в России... Если можно путешествовать по подорожной с *будущим*, отчего же с ним нельзя переписываться» (т. 18, с. 64).

Герцен грустно шутит. Но это не только и не просто шутка, а и гордое сознание собственной правоты, уверенность в том, что его злободневное<sup>35</sup> слово, пробив глухую стену непонимания, найдет будущего друга-читателя. Эта устремленность в будущее, дерзкий и далекий полет мысли великого диалектика и художника определили многообразное и непреходящее значение слова Герцена. Эстафета вольной речи Герцена была подхвачена народниками, а позднее и социал-демократами. В живом содружестве с независимой речью Герцена звучало слово позднего Толстого, автора статьи «Не могу молчать», трактата «Единое на потребу», романа «Воскресение», повести «Хаджи-Мурат».<sup>36</sup> Логично и закономерно, что именно Толстому принадлежат пророческие слова, записанные 12 октября 1905 года в дневнике под впечатлением от очередного прочтения книги Герцена «С того берега»: «Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их» (Т., т. 55, с. 165).

<sup>35</sup> Непосредственный, живой отклик на самые последние события — характернейшее свойство Герцена-писателя, так, в частности, объяснявшего изменения замысла и композиции «Концов и начал»: «Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга — они принялись за свои комментарии и за свои выводы» (т. 16, с. 129).

<sup>36</sup> «Во всей русской и мировой литературе не найдется другого такого художника слова и мыслителя, который бы столь властно и на протяжении не одного десятилетия владел бы умом и сердцем Льва Толстого», — справедливо заключает С. А. Розанова. — *Розанова С. А. Указ. соч.*, с. 146.

